

К А П Л А О С

Капитан

Анубас

Сидора



СОНЕТЫ

Воспоминания

Столь долгожданная десятая книга Карлоса Кастанеды наконец перед нами. Как и в случае каждой из предыдущих девяти, читатель столкнется с очередной неожиданностью. Кроме бесед и совместной работы с донем Хуаном здесь есть то, чего до сих пор еще не встречалось, – жизнь и магическая работа дома, в Лос-Анджелесе, в обстановке совсем не магической. Но есть здесь и совершенно ошеломляющая информация.

Человек – могущественное магическое существо, с помощью которого Бесконечность познает себя. Магия у нас – «в кончиках пальцев», как сказал дон Хуан Кастанеде в конце обучения. Чтобы стать тем, кем мы являемся на самом деле, нужно только поверить в это. Почему же это так сложно? Почему дону Хуану потребовались годы работы, множество сложнейших техник, смертельных ситуаций, растений силы и т.п., чтобы его нагваль-ученик всего лишь поверил во всемогущество своего намерения?

Причина в том, что нашу энергию осознания пожирают неорганические существа-хищники, «летуны». И мы – «добровольные» жертвы этих энергетических паразитов. В наш разум встроено некое «чужеродное устройство», заставляющее нас жить так, чтобы мы сами отдавали энергию хищникам. Испытываемые нами гнев, страх, обида, агрессия, ненависть – их любимая пища. Свобода – в силе безмолвия. Как обрести ее? Новая книга Кастанеды – реальная помощь в поисках ответа.

---

---

# КАРЛОС КАСТАНЕДА

## АКТИВНАЯ СТОРОНА БЕСКОНЕЧНОСТИ

*Эта книга посвящается двум ученым, благодаря которым я почувствовал желание, а затем и обрел способность заниматься полевыми антропологическими исследованиями, – профессорам Клементу Мейгану и Хэролду Гарфинкелю. Следуя их советам, я с головой окунулся в полевую ситуацию, из которой уже никогда не вынырнул. Если я нарушил дух и букву их наставлений, ну что ж... Я ничего не мог с собой поделать. Прежде чем я успел выдвинуть четкие «Общественно-научные» формулировки, меня поглотила огромная сила, которую шаманы называют Бесконечностью.*

# Предисловие: Синтаксис

Человек всмотрелся в свои уравнения и заявил, что Вселенная имела начало. В начале был взрыв, – сказал он, – Назовем его «Большой Взрыв», так и родилась Вселенная. И она расширяется, – сказал человек. Он даже вычислил продолжительность ее жизни: десять миллиардов обращений Земли вокруг Солнца. И весь мир был счастлив; все решили, что его вычисления – это и есть наука. Никому не пришло в голову, что, предположив, что Вселенная имела начало, этот человек просто следовал синтаксису своего языка; синтаксису, который требует начал, вроде рождения, развития, вроде созревания, и завершений, вроде смерти. Только так строятся высказывания. Вселенная когда-то началась, а теперь она стареет, – заверил нас тот человек. И она умрет, как умирает все, и как он сам умер, после того как подтвердил математически синтаксис своего родного языка.

Синтаксис иного типа

Действительно ли Вселенная имела начала? Верна ли теория Большого Взрыва?

Это – не вопросы (несмотря на вопросительный знак).

Является ли синтаксис, который требует начал, развития и концов для построения высказываний, единственным существующим синтаксисом?

Вот это – настоящий вопрос.

Есть другие синтаксисы.

Есть такой, например, который требует, чтобы различные варианты интенсивности принимались как факт.

В этом синтаксисе ничто не начинается и ничто не кончается; рождение – это не четко выделенное событие, а лишь особый тип интенсивности, как и созревание, и смерть.

Человек этого синтаксиса, просматривая свои уравнения, обнаруживает, что он вычислил достаточно много вариантов интенсивности, чтобы авторитетно заявить: «Вселенная никогда не начиналась и никогда не закончится, но она прошла, и проходит сейчас, и еще пройдет через бесконечные колебания интенсивности».

Этот человек вполне мог бы заключить, что сама Вселенная является колесницей интенсивности и на ней можно мчаться сквозь бесконечные перемены.

Он бы мог прийти к этому выводу, и ко многим другим, пожалуй, даже не осознавая, что он лишь подтверждает синтаксис своего родного языка.

# Введение

Эта книга представляет собой своего рода коллекцию памятных событий моей жизни. Я начал собирать ее, следуя совету дона Хуана Матуса, шамана родом из индейского племени яки. Он был моим учителем и в течение тринадцати лет пытался сделать доступным для меня мир знания шаманов, которые жили в Мексике в древние времена. Дон Хуан предложил мне собирать коллекцию интересных случаев, и предложил как бы мимоходом, словно эта мысль только что пришла ему в голову. Но таков уж был его стиль обучения. Он предпочитал скрывать важность некоторых своих маневров, маскируя их под вполне безобидные мирские действия. Я думаю, что он защищал меня от жгучей боли окончательности, представляя все это как нормальные явления повседневной жизни.

Со временем дон Хуан открыл мне, что шаманы древней Мексики считали такое соби́рание памятных событий отличным способом активизации сгустков утерянной энергии, существующих в нашем "я". Он объяснил, что такие сгустки состоят из энергии, которая рождается в самом теле, а затем вытесняется, выталкивается со своего места обстоятельствами нашей повседневной жизни и становится недоступной. Так что соби́рание памятных событий было для дона Хуана и шаманов его линии средством повторного задействования этой неиспользуемой энергии.

Необходимой предпосылкой такого соби́рания является акт добросовестного и искреннего сведения воедино всех связанных с событием эмоций и постижений. Ничто не должно быть упущено. Как сказал дон Хуан, шаманы его линии были убеждены, что соби́рание памятных событий помогает выполнить эмоциональную и энергетическую настройку, необходимую для сознательного путешествия в неведомое.

Дон Хуан описал конечную цель своего шаманского знания как подготовку к окончательному путешествию, тому путешествию, которое каждому человеку приходится предпринимать в конце своей жизни. Он сказал, что благодаря дисциплине и решимости шаманы были способны сохранять свое индивидуальное осознание и помнить о своей цели даже после смерти. Для них то, что современный человек называет «жизнь после смерти», было не туманным бестелесным состоянием, а очень конкретным миром, до краев наполненным практической деятельностью иного порядка, чем практическая деятельность повседневной жизни, но тоже весьма практической и функциональной. Дон Хуан считал, что соби́рание памятных событий своей жизни было для шаманов подготовкой к вхождению в тот конкретный мир, который они называли активной стороной бесконечности.

Однажды утром мы с доном Хуаном беседовали под его рамадой. Рамада – это что-то вроде веранды, хрупкое сооружение из бамбука с редким навесом из прутьев, который дает тень, но не защищает от дождя. Под навесом было несколько небольших крепких посылочных ящиков, которые служили сиденьями. Надписи на ящиках поблекли и скорее походили на узорные украшения, чем на адреса и названия почтовых организаций. На одном из таких ящиков я и сидел, прислонившись спиной к фасаду дома. Дон Хуан сидел на другом ящике, привалившись к подпорному шесту рамады. Я приехал на своей машине всего несколько минут назад. Целый день просидел за рулем – в такую жаркую, влажную погоду! Я потел, нервничал и ерзал.

Дон Хуан начал разговор, как только я удобно устроился на ящике. Широко улыбаясь, он заметил, что люди, страдающие избыточным весом, просто не знают, как надо бороться с ожирением. Что-то в изгибе его губ подсказало мне, что это не просто шутка о тяготах дальних поездок на автомобиле. Камешек был явно в мой огород: под видом шутки дон Хуан самым что ни на есть открытым текстом заявил мне, что я растолстел.

Я так занервничал, что непроизвольно дернулся на своем ящике и сильно ударился спиной о тонкую стену дома. Этот удар потряс дом до самого фундамента. Дон Хуан вопросительно посмотрел на меня, но, вместо того чтобы спросить, все ли со мной в порядке, он заверил меня, что я не сломал его дом. Затем он стал пространно объяснять, что этот дом – лишь его временное обиталище, а вообще-то он живет в другом месте. Когда я спросил его, где же он на самом деле живет, он долго смотрел на меня. Его взгляд не был враждебным, но, как мне показалось, давал понять, что я совершил бестактность. Я не понял, в чем тут дело, и решил было повторить свой вопрос, но дон Хуан остановил меня.

– Здесь такие вопросы не задают, – сказал он жестко. – Спрашивай что хочешь о процедурах или идеях. Когда я буду готов сообщить тебе, где я живу (если вообще буду), я тебе скажу, не дожидаясь твоих вопросов.

Я почувствовал себя отвергнутым и невольно покраснел. Было очень обидно. Неудержимый хохот дон Хуана только подлил масла в огонь. Он не просто отказался ответить на мой вопрос; он меня оскорбил, а теперь еще и смеялся надо мной!

– Я живу здесь временно, – продолжал между тем дон Хуан, не обращая внимания на мое окончательно испорченное настроение, – потому что это магический центр. Фактически, я живу здесь ради тебя.

Заявление было обескураживающим. Я не мог этому поверить. Может, он так говорит просто для того, чтобы загладить обиду?

– Ты действительно живешь здесь ради меня? – спросил я наконец, не в силах сдержать любопытство.

– Да, – сказал он спокойно. – Я должен воспитывать тебя. Ты – такой же, как я. Сейчас я повторю тебе то, что уже говорил раньше: задача каждого нагваля в каждом поколении магов заключается в том, чтобы найти нового мужчину или женщину, которые, как и он сам, имели бы двойную энергетическую структуру. Я увидел такую структуру у тебя на автобусной станции в Ногалесе. Когда я вижу твою энергию, я вижу два наложенных друг на друга светящихся шара – один сверху, а другой снизу. Это и есть то качество, которое связывает меня с тобой. Я не могу отвергнуть тебя, как и ты не можешь отвергнуть меня.

Его слова подействовали на меня самым странным образом. Если только что я злился, то теперь мне хотелось плакать.

Дон Хуан продолжил, сказав, что он хотел начать мое продвижение по пути воинов, как это называют маги, при поддержке силы того места, где он жил. Место это – центр очень сильных эмоций и реакций. Здесь тысячами жили воины, пропитав саму землю своей озабоченностью битвой.

В то время дон Хуан жил в северомексиканском штате Сонора, примерно в ста милях к югу от города Гуаймаса, куда я всегда ездил, чтобы повстречаться с ним, когда этого требовала моя исследовательская работа.

– Неужели мне нужно вступать в битву, дон Хуан? – спросил я, не на шутку встревоженный его заявлением, что однажды и мне потребуется озабоченность битвой. Я уже научился принимать все, что он говорит, с предельной серьезностью.

– Можешь в этом не сомневаться, – ответил он с улыбкой. – Когда ты впитаешь в себя все, что можно впитать в этом месте, я смогу уйти.

У меня не было никаких оснований сомневаться в его словах, но я как-то не мог себе представить, чтобы дон Хуан куда-то ушел из этих мест. Он был неотъемлемой частью всего того, что его окружало. Но дом его и впрямь выглядел временным жилищем. Это была лачуга, типичная для земледельцев-яки: фактически, просто обмазанный глиной плетень с плоской соломенной крышей. В доме была одна большая комната – столовая, она же и спальня, – и

пристройка-кухня без крыши.

– Очень трудно иметь дело с людьми, имеющими лишний вес, – сказал дон Хуан.

Мне это показалось не слишком уместным. Но дон Хуан просто вернулся к той теме, с которой я его сбил, толкнув спиной стену его хижины.

– Минуту назад ты ударил мой дом, как стенобитный шар, – сказал он, медленно покачивая головой из стороны в сторону. – Какой удар! Удар, достойный такого упитанного человека.

Меня задело, что он говорит обо мне так, словно на мне можно уже поставить крест. Я немедленно занял оборонительную позицию. Дон Хуан, ухмыляясь, выслушал мои бессвязные объяснения о том, что для такой костной структуры у меня совершенно нормальный вес.

– Да конечно, конечно, – согласился он примирительно. – У тебя большие кости. Ты, наверное, с легкостью мог бы носить на себе еще тридцать фунтов веса, и никто, я тебя уверяю, не заметил бы этого. Я бы, например, не заметил.

Но его ехидная усмешка ясно давала понять, что он продолжает издеваться надо мной. Затем он спросил, как мое здоровье вообще, и я начал рассказывать о своем здоровье, отчаянно пытаясь предотвратить любые дальнейшие комментарии по поводу моего веса. Но дон Хуан сам сменил тему.

– А как поживают твои странности и причуды? – спросил он вдруг со смертельной серьезностью.

Чувствуя себя последним идиотом, я ответил, что они поживают хорошо. «Странностями и причудами» он именовал мой интерес к собирательству. В то время я как раз с новым пылом предавался своей старой страсти – коллекционированию всего, что только можно коллекционировать. Я собирал журналы, марки, пластинки, реликвии Второй мировой войны – шпжки, каски, флаги и тому подобное.

– Насчет моих причуд, дон Хуан, могу тебе сказать только одно: я пытаюсь распродать свои коллекции, – сказал я с видом мученика, которого заставляют сделать что-то совершенно невыносимое.

– Быть коллекционером – не такая уж плохая идея, – ответил дон Хуан с таким видом, словно действительно так считал. – Все дело в том, что именно коллекционировать. Ты собираешь всякий мусор, никому не нужные предметы, которые порабощают тебя так же сильно, как и твоя любимая собака. Ты не можешь просто так взять и уехать по своим нуждам, если у тебя есть собака, за которой ты должен ухаживать, или коллекции, о которых ты будешь постоянно беспокоиться.

– Я на самом деле ищу покупателей, дон Хуан, честное слово, – запротестовал я.

– Нет-нет, не думай, что я тебя в чем-то обвиняю, – ответил он. – Наоборот, мне нравится твой дух коллекционера. Мне просто не нравятся твои коллекции, вот и все. Я бы предложил тебе коллекционировать кое-что действительно стоящее.

Дон Хуан сделал долгую паузу. Казалось, он то ли ищет нужные слова, то ли драматически разыгрывает хорошо скрываемое сомнение. Он взглянул на меня глубоким, пронзительным взглядом.

– Каждый воин действительно должен собирать особый альбом, – заговорил он наконец, – альбом, раскрывающий личность воина; альбом, который фиксирует обстоятельства его жизни.

– Почему ты называешь это коллекцией дон Хуан? – заспорил я. – И этот альбом, зачем он?

– Это именно коллекция, – отрезал дон Хуан. – И больше всего это похоже на альбом с фотографиями, сделанными с памяти, фотографиями воспоминания памятных событий.

– Эти «памятные события» памятны в каком-то особом смысле? – спросил я.

– Они памятны, потому что обладают особым значением в твоей жизни, – сказал дон Хуан. – Я предлагаю тебе собрать такой альбом, поместив в него полный отчет о различных

событиях, которые имели особое значение в твоей жизни.

– Каждое событие в моей жизни имело для меня особое значение, дон Хуан! – заявил я убежденно и тут же почувствовал неловкость от того, как высокопарно это прозвучало.

– Не каждое, – ответил он, улыбаясь и явно наслаждаясь моей реакцией. – Далеко не все события в твоей жизни имели для тебя такое уж большое значение. Было несколько таких, которые, мне кажется, изменили кое-что для тебя, осветили твой путь. Обычно события, которые изменяют наш путь, являются одновременно и безличными, и глубоко личными.

– Я не стараюсь казаться сложнее, чем я есть, дон Хуан, но, поверь мне, все, что со мной происходило, соответствует этим параметрам, – сказал я, зная, что лгу.

Сразу же после того, как я сделал это заявление, мне захотелось извиниться, но дон Хуан просто не обратил на него никакого внимания.

– Не относись к этому альбому как к мешанине из банальных переживаний твоей жизни, – продолжал он как ни в чем не бывало.

Я глубоко вздохнул, закрыл глаза и попытаюсь успокоиться. Снова и снова я сталкивался с одной и той же неразрешимой проблемой: мне совершенно не нравились эти мои визиты к дону Хуану. В его присутствии я чувствовал себя в опасности. Он постоянно придирался ко мне и не оставлял мне никакой возможности показать мои сильные стороны. Мне надоело терять лицо каждый раз, как я открываю рот; мне надоело чувствовать себя дураком.

Но где-то внутри меня прозвучал и другой голос, донесшийся из самых глубин, далекий, почти неслышимый. В пылу своего внутреннего диалога я услышал, как кто-то сказал, что мне уже слишком поздно поворачивать назад. Это был не мой голос и не мои мысли; кто-то неведомый говорил, что я зашел слишком далеко в мир дона Хуана и теперь нуждаюсь в доне Хуане больше, чем в воздухе.

– Говори что хочешь, – казалось, шептал мне этот голос, – но,, не будь ты таким эгоистичным, ты бы так сильно не расстраивался.

– Это голос твоего другого сознания, – произнес дон Хуан, словно читая мои мысли.

Мое тело непроизвольно подпрыгнуло. Мой страх был так велик, что на глаза навернулись слезы. Я, как на исповеди, рассказал дону Хуану о том, что меня беспокоило.

– Твой конфликт вполне естествен, – сказал он, – и поверь мне, я не стараюсь его обострить. Мне это не свойственно. Но я могу рассказать тебе несколько историй о том, как мой учитель, нагваль Хулиан, проделывал это со мной. Я ненавидел его всем своим существом. Я был очень молод, и я видел, как его обожали женщины. Они просто преклонялись перед ним, а когда я пытался просто поздороваться с ними, они набрасывались на меня, как львицы, готовые загрызть. Меня они смертельно ненавидели, а его – любили. Каково, по-твоему, было мне?

– И как ты справился с этим конфликтом, дон Хуан? – спросил я с неподдельным интересом.

– Ни с чем я не справлялся, – заявил он. – Этот конфликт был результатом сражения между двумя моими сознаниями. У каждого из нас, людей, есть два сознания. Одно полностью наше и похоже на тихий голос, который всегда несет в себе мир, порядок, смысл. Другое сознание – это нечто встроенное извне. Оно приносит нам конфликты, внутренние споры, сомнения, чувство безнадежности.

Я был так поглощен своими ментальными процессами, что совершенно не уловил сказанного доном Хуаном. Я мог бы воспроизвести его слова, но они не имели для меня никакого смысла. Дон Хуан спокойно, глядя мне прямо в глаза, повторил все то, что он только что сказал. И снова я не смог понять смысла его слов. Мое внимание не фокусировалось.

– Не пойму, в чем тут дело, дон Хуан, но я не могу сосредоточиться на том, что ты мне говоришь, – признался я.



– А я очень хорошо понимаю, почему ты не можешь, – сказал он, широко улыбаясь. – Поймешь и ты когда-нибудь, сразу же, как только разберешься: любишь ты меня или нет. В тот самый день, когда ты перестанешь быть центром мира – я-я. Ну а пока что давай отложим вопрос о наших двух сознаниях и вернемся к идее твоего альбома памятных событий. Я должен добавить, что составление такого альбома – это упражнение на дисциплину и беспристрастность. Можешь также считать его актом битвы.

Предсказание дона Хуана – о том, что конфликт моей любви и нелюбви к нему закончится, как только я откажусь от своего эгоцентризма, – для меня ничего не решало. Собственно, оно лишь еще больше расстроило и разозлило меня. И когда дон Хуан сказал об альбоме как об акте битвы, я набросился на него со всей яростью.

– Уже саму идею коллекции событий трудно понять, – заявил я протестующим тоном, – а то, что ты называешь ее «альбомом», который к тому же является «актом битвы», – для меня это уже слишком. Это слишком неясно. Эти метафоры настолько неясные, что теряют всякий смысл.

– Странно! По мне, так как раз наоборот, – спокойно ответил дон Хуан. – Для меня в том, что такой альбом является актом битвы, содержится бездна смысла. Я бы не хотел, чтобы мой альбом памятных событий был чем-нибудь другим, кроме акта битвы.

Я хотел продолжать спорить дальше, собираясь объяснить ему, что понимаю идею альбома памятных событий. Я возражал лишь против того, что дон Хуан так запутанно ее излагает. В то время я считал себя сторонником ясности и функциональности в использовании языка.

Дон Хуан воздержался от комментариев по поводу моего воинственного настроения. Он лишь покивал головой, как бы полностью соглашаясь со мной. И тут произошло что-то непонятное. Не то у меня совершенно иссякла энергия, не то, наоборот, гигантская волна энергии подхватила меня. Совершенно неожиданно, помимо воли я осознал бессмысленность этой перебранки и мне стало стыдно.

– Почему я так себя веду? – честно спросил я дона Хуана.

Моему смущению не было предела. Я был так потрясен только что пережитым, что у меня вдруг потекли слезы.

– Не беспокойся о глупых мелочах, – сказал дон Хуан успокаивающе. – Все мы такие, и мужчины, и женщины.

– Ты имеешь в виду, дон Хуан, что мы по природе мелочны и противоречивы?

– Нет, мы не мелочны и не противоречивы, – ответил он. – Наша мелочность и противоречивость – это, скорее, результат трансцендентального конфликта, под влиянием которого мы все находимся. Но только маги болезненно и безнадежно осознают его. Это конфликт двух сознаний.

Дон Хуан сверлил меня взглядом; его глаза были как два черных уголька.

– Ты все время говоришь мне об этих двух сознаниях, – сказал я, – но мой мозг не фиксирует то, что ты говоришь. Почему?

– В свое время ты поймешь, почему, – ответил он. – А пока что достаточно будет, если я еще раз повторю тебе то, что я говорил о двух сознаниях. Одно из них – наше истинное сознание, продукт всего нашего жизненного опыта; то сознание, которое редко говорит, потому что оно побеждено и подавлено до полного затемнения. Другое сознание, которое мы используем ежедневно во всем, что мы делаем, встроено в нас извне.

– По-моему, сама концепция сознания как «чужеродного устройства» настолько дикая, что мой ум отказывается принимать ее всерьез, – сказал я и почувствовал, что совершил настоящее открытие.

Дон Хуан не отреагировал на мои слова. Он продолжал объяснять свою идею двух

сознаний.

– Чтобы разрешить конфликт двух сознаний, нужно намереваться сделать это, – сказал он. – Маги призывают намерение, произнося слово «намерение» вслух, громко и ясно. Намерение – это одна из сил, существующих во Вселенной. Когда маги призывают намерение, оно приходит к ним и прокладывает путь для достижения цели. Это значит, что маги всегда выполняют то, что они решают сделать.

– Ты имеешь в виду, дон Хуан, что маги получают все, что хотят, даже если это нечто мелкое, обычное и произвольное? – спросил я.

– Нет, я не это имею в виду. Намерение, конечно, можно призывать для чего угодно, – ответил он, – но маги выяснили дорогой ценой, что намерение приходит к ним лишь для чего-то абстрактного. Это «предохранительный клапан магов»; иначе они были бы просто невыносимы. В твоём случае призывать намерение, чтобы разрешить конфликт твоих двух сознаний или чтобы услышать голос твоего истинного сознания, – это отнюдь не мелкое, произвольное или обычное дело. Наоборот, это высокая и абстрактная задача, и она жизненно важна для тебя!

Дон Хуан сделал небольшую паузу и снова заговорил об альбоме.

– Мой собственный альбом, будучи актом битвы, требовал сверхсерьезного подхода к отбору материала, – сказал он. – И сейчас он представляет собой полное собрание незабываемых моментов моей жизни и всего того, что подводило меня к ним. Я сосредоточил в своем альбоме все, что было и будет иметь для меня значение. Я считаю, что альбом воина должен быть максимально конкретным и ошеломляюще точным.

Я пока не улавливал, чего хочет от меня дон Хуан, но слова его стал понимать очень хорошо. Он посоветовал, чтобы я сел в одиночестве и позволил мыслям и воспоминаниям свободно приходить ко мне. Мне нужно было попытаться позволить голосу из глубины говорить со мной и подсказать мне, что именно нужно выбрать. После этого я должен был уйти в дом и лечь на кровать. Мое ложе в доме дона Хуана было сделано из деревянных ящиков, а матрасом служило несколько дюжин пустых джутовых мешков. Хотя все мое тело болело с непривычки после сна на такой постели, на самом деле она была очень удобной.

Я решил следовать рекомендациям дона Хуана как можно более добросовестно и начал думать о прошлом, припоминая события, которые оставили след в моей жизни. Вскоре я понял, как глупо было заявлять, что все события моей жизни были в равной степени важными. Пытаясь заставить себя вспоминать, я обнаружил, что не знаю даже, с чего начать. Через мое сознание текли бесконечные несвязные мысли и воспоминания о разных случавшихся со мной событиях, но я никак не мог решить, насколько они для меня важны. Создавалось даже впечатление, что вообще все было не слишком важным. Похоже было на то, что я прошел сквозь жизнь, как труп, – ходячий и говорящий, но абсолютно ничего не чувствующий. К тому же мне было все труднее концентрироваться на предмете своих размышлений, а потому я вскоре оставил все это и заснул.

– Что-нибудь получилось? – спросил меня дон Хуан, когда я проснулся через несколько часов.

После сна и отдыха мне не стало легче. Я по-прежнему был раздражен и злобно огрызнулся:

– Ничего!

– Ты слышал этот голос из глубины?

– Кажется, да, – соврал я.

– И что он тебе сказал? – спросил он очень серьезным тоном.

– Я не могу думать об этом, дон Хуан, – выдавил я из себя.

– Ага, ты уже вернулся в свое обычное осознание, – заметил он и сильно похлопал меня по

спине. – Твое повседневное сознание снова победило. Давай расслабим его, поговорив о твоей коллекции памятных событий. Я должен сказать тебе, что отбор событий для альбома – дело непростое. Вот почему я говорю, что этот альбом – акт битвы. Тебе придется десять раз переделать себя, чтобы узнать, что именно выбирать.

И тут, пусть только на секунду, я вдруг ясно понял, что у меня действительно два сознания; но эта мысль была очень тонкой и сразу же исчезла. Осталось лишь ощущение моей неспособности выполнить требования дон Хуана. Но вместо того чтобы снисходительно принять свою несостоятельность, я позволил ей испугать меня. Главным устремлением моей жизни в то время было всегда являться в хорошем свете. Потерпеть неудачу, проиграть – для меня это было нестерпимо. Не зная, как справиться с той задачей, которую ставил передо мной дон Хуан, я сделал то, что только и умел делать хорошо: разозлился.

– Мне надо еще многое обдумать относительно этого, дон Хуан, – сказал я. – Моему уму нужно дать какое-то время, чтобы он свыкся с этой идеей.

– Конечно, конечно, – успокоил меня дон Хуан. – Можешь ждать хоть всю жизнь, но все-таки поторопись.

В тот раз на эту тему больше ничего не было сказано. Вернувшись домой, я совершенно забыл обо всем этом. И вдруг однажды, сидя на какой-то лекции, я услышал внутренний властный приказ: искать памятные события в своей жизни. «Услышал» – не совсем подходящее слово; это скорее было похоже на удар тока или нервный спазм, который потряс все мое тело – от макушки до пят.

Я честно взялся за дело. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы перевернуть все переживания моей жизни, которые, по моему мнению, были важными. Но, осмотрев свою коллекцию, я понял, что имел дело лишь с идеями, не имевшими абсолютно никакой реальной значимости. Вспомненные мною события были не более чем абстрактными точками во времени. У меня возникло чрезвычайно неприятное ощущение, что я пришел в мир только для того, чтобы действовать, не позволяя себе останавливаться и хоть что-то чувствовать.

Одним из забытых событий, которые я обязательно хотел вспомнить, был день моего зачисления в аспирантуру Калифорнийского Университета Лос-Анджелеса (UCLA). Но, как ни старался, я не мог вспомнить, что я делал в тот день. С ним не было связано ничего интересного, ничего особенного – вообще ничего, кроме моей идеи, что этот день должен быть памятным. Поступив в аспирантуру, я должен был радоваться и гордиться, но этого не было!

Другим экспонатом моей коллекции был тот день, когда я чуть не обвенчался с Кэй Кондор. Вообще-то у нее была другая фамилия, но она изменила ее на Кондор, потому что хотела стать актрисой. Ее козырной картой было внешнее сходство с Кэрол Ломбард. Тот день был памятным в моем сознании не столько из-за происшедших событий, сколько потому, что она была красива и хотела выйти за меня замуж. Она была на голову выше меня, что делало ее еще интереснее в моих глазах.

Меня волновала мысль о венчании в церкви с высокой женщиной. Я взял напрокат серый смокинг. Брюки были широковаты для моего роста. Не то чтобы висели колоколами, но были широковаты, и это очень меня беспокоило. Кроме брюк, меня раздражало то, что рукава розовой рубашки, которую я купил специально для этого случая, были на три дюйма длиннее, чем следовало; мне пришлось воспользоваться резиновыми лентами, чтобы подтянуть их повыше. А так вообще все шло прекрасно – до того момента, когда гости и я узнали, что Кэй Кондор передумала и не собирается приходить на свадьбу.

Будучи очень порядочной молодой леди, она прислала мне через мотокурьера записку с извинениями. В записке написала, что, не приемля развода, она не может связать свою судьбу с

человеком, который не разделяет ее взглядов на жизнь. Она напомнила мне, что я всегда хихикал, произнося фамилию – Кондор, а это было знаком полного неуважения к ее личности. Она обсудила эту проблему со своей матерью. Обе они очень любят меня, но не настолько, чтобы ввести в свою семью. Заканчивалась записка тем, что мы должны набраться смелости и мудрости и расстаться навсегда.

Состояние моего ума можно было охарактеризовать как «полное оцепенение». Пытаясь вспомнить тот день, я не мог понять, то ли я испытывал чудовищное унижение, оказавшись дурак дураком перед толпой людей в своем взятом напрокат сером смокинге и слишком широких брюках, то ли был сокрушен тем, что Кэй Кондор не выходит за меня замуж.

Это были единственные два события, которые я мог четко выделить. Примеры довольно жалкие, но, покопавшись, мне удалось найти в них философский смысл. Кажется, я был человеком, который проходит сквозь жизнь без единого подлинного чувства, подходя ко всему лишь с интеллектуальной меркой. Подражая стилю дона Хуана, я придумал себе такое определение: человек, который изо всех сил старается жить «как положено».

Я был уверен, например, что день моего поступления в аспирантуру УКЛА должен быть памятным днем. Поскольку памятным он не был, я постарался искусственно наделить его значимостью, которой на самом деле не ощущал. То же можно сказать и о том дне, когда я чуть не женился на Кэй Кондор. По идее, это должно было стать для меня опустошительным переживанием, но не стало. В момент вспоминания этого события я понял, что в нем ничего нет, и сразу же начал усердно воссоздавать то, что я должен был чувствовать.

Приехав к дому дона Хуана, я представил ему свои два примера памятных событий.

– Это все чепуха, – заявил дон Хуан. – Никуда не годится. Такие истории связаны исключительно с тобой как с личностью, которая думает, чувствует, плачет или вообще ничего не ощущает. Памятные же события из альбома мага – это события, которые могут выдержать испытание временем, потому что они не имеют ничего общего с человеком, хотя человек и находится в самой их гуще. Он всегда будет в гуще событий, всю свою жизнь, а возможно и потом, но не совсем лично.

Его слова привели меня в полное уныние. В то время я искренне считал дона Хуана вредным старикашкой, который получает особое удовольствие от того, что выставляет меня полным дураком. Он напоминал мне преподавателя скульптуры из художественной школы, которую я когда-то посещал. Этот мастер обязательно подвергал критике все, что делали ученики, и во всех их работах находил изъяны. Затем он требовал, чтобы работы были исправлены соответственно его указаниям. Ученики отходили и делали вид, что подправляют что-то в своих скульптурах. Я вспоминал, каким самодовольством сиял мастер, когда, осматривая якобы переделанные работы, он приговаривал: – Ну вот, теперь совсем другое дело!

– Не унывай, – сказал дон Хуан, прерывая мои воспоминания. – В свое время я тоже через это прошел. Многие годы я не просто не знал, что выбрать, но думал, что у меня просто нет переживаний, из которых можно выбирать. Мне казалось, что со мной вообще никогда ничего не происходило. Конечно же, все со мной происходило, но, пока я старался защищать идею самого себя, у меня не было ни времени, ни желания что-то замечать.

– Ты можешь конкретно сказать мне, дон Хуан, чем плохи мои истории? Я знаю, что они – ничто, но остальная моя жизнь точно такая же.

– Я повторю тебе еще раз, – сказал он. – Истории из альбома война – не личные. Твоя история о том дне, когда тебя приняли в аспирантуру, – это не что иное, как предположение, что ты центр мира. Ты чувствуешь, ты не чувствуешь. Ты понимаешь, что я имею в виду? Вся эта история – это ты сам!

– Но может ли быть иначе, дон Хуан? – спросил я.

– В другой истории ты уже почти прикоснулся к тому, о чем я говорил, но снова превратил это в нечто в высшей степени личное. Я знаю, что ты мог бы добавить еще больше деталей, но все эти детали были бы просто продолжением твоей личности.

– Я на самом деле не могу понять, о чем ты, дон Хуан, – возразил я. – Любая история, увиденная глазами очевидца, по определению должна быть личной.

– Да-да, конечно, – сказал он с улыбкой, как всегда, наслаждаясь моим смущением. – Но тогда это история не для альбома война, а для какой-то другой цели. Памятные события, которые мы ищем, несут на себе темную печать безличности. Они пропитаны ею. Я не знаю, как еще объяснить это.

В этот момент меня как будто озарило, и я понял, что он имел в виду под «темной печатью безличности». Мне показалось, что он имел в виду нечто злое. Злое значение для меня имела тьма. Я тут же рассказал дону Хуану историю из моего детства.

Один из моих старших кузенов был интерном в медицинской школе. Однажды он привел меня в морг, убедив предварительно, что молодому человеку совершенно необходимо видеть мертвецов; это зрелище очень поучительно, ибо демонстрирует бренность жизни. Он снова и снова приставал ко мне, уговаривая сходить в морг. Чем больше он рассказывал о том, какими незначительными становимся мы после смерти, тем более возрастало мое любопытство. Мне еще никогда не приходилось видеть труп. В конце концов любопытство победило, и я пошел с ним.

Он показал мне разные трупы, и ему удалось испугать меня до бесчувствия. Мне показалось, что в трупах нет ничего поучительного или просветляющего. Но они действительно были самыми пугающими вещами, которые я когда-либо видел. Брат все время поглядывал на часы, словно кого-то ждал. Он явно хотел продержат меня в морге дольше, чем позволяли мои силы. Будучи по натуре честолюбивым, я был уверен, что он испытывает мою выдержку, мое мужество. Стиснув зубы, я поклялся себе терпеть до самого конца.

Но такой конец мне не снился и в кошмарном сне. На моих глазах один труп, накрытый простыней, вдруг пошевелился на мраморном столе, как будто собирался встать. Он издал мощный рыгающий звук, который прожег меня насквозь и останется в моей памяти до конца жизни. Позже двоюродный брат, ученый-медик, объяснил мне, что это был труп человека, умершего от туберкулеза. У таких трупов все легкие изъедены бактериями, и остаются огромные дыры, заполненные воздухом. Когда температура воздуха изменяется, это иногда заставляет тело изгибаться, словно оно пытается встать, что и произошло в данном случае.

– Нет, это еще не то, – сказал дон Хуан, качая головой из стороны в сторону. – Это просто история о твоём страхе. Я бы и сам испугался до смерти, но такой испуг никому не освещает путь. Впрочем, мне было бы интересно узнать, что случилось с тобой дальше.

– Я заорал как резаный, – сказал я, – а мой брат назвал меня трусом и сопляком, который от страха чуть не обделался.

Я явно зацепил какой-то темный слой своей жизни. Следующий случай, который я вспомнил, был связан с шестнадцатилетним парнем из нашей школы, который страдал каким-то расстройством желез и имел гигантский рост. Но его сердце не успевало расти вместе с остальным телом, и однажды он умер от сердечного приступа. Из какого-то нездорового юношеского любопытства мы с одним товарищем пошли посмотреть, как его будут укладывать в гроб. Похоронных дел мастер, который, пожалуй, был еще более паталогичен, чем мы, впустил нас в свою каморку и продемонстрировал свой шедевр. Он уместил огромного парня, рост которого превышал семь футов и семь дюймов, в гроб для обычного человека, отпилив ему ноги! Мастер показал нам, как он пристроил ноги в гробу – мертвый юноша обнимал их руками,

словно трофеи.

Ужас, который я тогда испытал, был по силе сравним с тем, что я испытал в детстве при посещении морга, но этот новый страх был не физической реакцией, а психологическим переворотом.

– Это уже ближе, – сказал дон Хуан, – но и эта история еще слишком личная. Она отвратительна. Меня от нестощит, но в ней чувствуется большой потенциал.

Мы с доном Хуаном посмеялись над тем, какой ужас содержится в ситуациях повседневной жизни. К этому времени я уже окончательно погрузился в самые мрачные воспоминания и рассказал дону Хуану о моем лучшем друге Рое Голдписсе. Вообще-то у него была польская фамилия, но друзья дали ему прозвище Голдписс, потому что, чего бы он ни коснулся, все превращалось в золото; он был прирожденным бизнесменом.

Но талант к бизнесу превратил его в сверхамбициозного человека. Он хотел стать первым богачом мира. Оказалось же, что конкуренция на этом поприще слишком жесткая. Голдписс жаловался, что, делая свой бизнес в одиночку, он не мог тягаться с лидером некоей исламской секты, которому каждый год жертвовали столько золота, сколько он сам весил. Перед взвешиванием этот лидер секты старался съесть и выпить столько, сколько позволял его желудок.

Итак, мой друг Рой немного опустил планку и решил стать самым богатым человеком в Соединенных Штатах. Но и на этом уровне конкуренция была просто бешеная. Он спустился еще ниже: уж в Калифорнии-то он сможет быть самым богатым человеком. Однако и тут он опоздал. И он отказался от мысли, что со своей сетью киосков, торгующих пиццей и мороженым, он сможет соперничать с уважаемыми семьями, которые владеют Калифорнией. Он настроился на то, чтобы быть первым воротилой в Вудланд-Хиллз, его родном пригороде Лос-Анджелеса. Но, к несчастью для него, на одной с ним улице жил мистер Марш, владевший фабриками по производству лучших в Америке матрасов, невообразимый богач. Разочарованию Роя не было пределов. Он так страдал, что в конце концов испортил себе здоровье. В один прекрасный день он умер от аневризмы мозга.

Его смерть стала причиной моего третьего визита в покойницкую. Жена Роя попросила меня, как его лучшего друга, позаботиться о том, чтобы труп был должным образом обряжен. Я отправился в погребальную контору, а там секретарь провел меня во внутреннее помещение. Когда я вошел, мастер как раз хлопотал вокруг своего высокого мраморного стола. Он с силой толкал двумя пальцами вверх уголки уже застывшего рта покойника. Когда наконец на мертвом лице Роя появилась гротескная улыбка, мастер повернулся ко мне и сказал подобострастно:

– Надеюсь, вы будете довольны, сэр.

Жена Роя – мы уже никогда не узнаем, любила она его или нет, – решила похоронить его со всей пышностью, какой он заслуживал. Она заказала очень дорогой гроб, похожий на телефонную будку; фасон она позаимствовала из кинофильма. Роя должны были похоронить в сидячем положении, как будто он ведет деловые переговоры по телефону.

Я не остался на похороны. Уехал с очень тяжелым чувством, смесью бессилия и злости – такой злости, которую не изольешь ни на кого.

– Да, сегодня ты действительно мрачен как никогда, – заметил дон Хуан, смеясь, – но несмотря на это, – а может, и благодаря этому, – ты почти у цели. Уже подошел вплотную.

Я всегда удивлялся тому, как менялось мое настроение при каждой встрече с доном Хуаном. Приезжал я расстроенный, брюзжащий и мнительный. Но через некоторое время мое настроение чудесным образом менялось, я становился все более экспансивным, а затем вдруг успокаивался – таким спокойным я никогда не бывал в повседневной жизни. Мое новое настроение отражалось и в моей речи. Обычно я говорил как глубоко неудовлетворенный

человек, еле сдерживающийся, чтобы не начать жаловаться вслух, но жалобным был уже сам голос.

– А ты можешь привести мне пример памятного события из своего альбома, дон Хуан? – спросил я в привычном тоне скрытой жалобы. – Если бы я знал, что тебе нужно, мне было бы легче. Пока что я просто блуждаю в потемках.

– Не объясняй слишком много. – сказал дон Хуан, сурово взглянув на меня. – Маги говорят, что в каждом объяснении скрывается извинение. Поэтому, когда ты объясняешь, почему ты не можешь делать то или другое, на самом деле ты извиняешься за свои недостатки, надеясь, что слушающие тебя будут добры и простят их.

Когда на меня нападают, мой любимый защитный маневр – демонстративно не слушать нападающих. У дон Хуана, однако, была отвратительная способность захватывать все мое внимание без остатка. Нападая на меня, он всегда умудрялся заставить меня слушать каждое его слово. Вот и сейчас пришлось выслушать все, что он сказал обо мне. Хотя его слова не доставили мне ни малейшего удовольствия, это была голая правда.

Я избегал его глаз. Как обычно, я чувствовал себя под угрозой, но на этот раз угроза была особенной. Она не беспокоила меня так, как беспокоила бы в повседневной жизни или сразу после моего приезда в дом дон Хуана.

После долгого молчания дон Хуан снова заговорил.

– Я не буду приводить тебе пример памятного события из моего альбома, – сказал он. – Я сделаю лучше: назову тебе памятное событие из твоей собственной жизни; оно наверняка подойдет для твоей коллекции. Или, скажем так, на твоём месте я бы обязательно поместил его в свою коллекцию памятных событий.

Я подумал, что дон Хуан шутит, и глупо засмеялся.

– Тут не над чем смеяться, – отрезал он. – Я говорю серьезно. Когда-то ты рассказал мне историю, которая попадает в самую точку.

– Что это за история, дон Хуан?

– О фигурах перед зеркалом, – сказал он. – Расскажи мне ее еще раз. Но расскажи со всеми подробностями, какие сможешь вспомнить.

Я начал кратко пересказывать эту старую историю. Дон Хуан остановил меня и потребовал тщательного, подробного изложения с самого начала. Я попробовал еще раз, но мое исполнение не устраивало его.

– Давай прогуляемся, – предложил он. – Когда идешь, можно быть гораздо точнее, чем когда сидишь. Это весьма неглупая идея – прохаживаться туда-сюда, когда что-то рассказываешь.

Мы сидели, как и всегда днем, под его рамадой. У меня уже сложилась привычка сидеть на определенном месте, прислонившись спиной к стене. Дон Хуан сидел под рамадой каждый раз на другом месте.

Мы вышли на прогулку в худшее время дня: в полдень. Дон Хуан снабдил меня старой соломенной шляпой, как всегда, когда мы выходили на солнцепек. Долгое время мы шли в полном молчании. Я изо всех сил старался вспомнить все подробности своей истории. Было уже около трех часов, когда мы сели в тени кустов, и я наконец рассказал дону Хуану всю историю.

Когда я много лет назад изучал скульптуру в школе изящных искусств в Италии, у меня был друг-шотландец, который учился на искусствоведа. Самой характерной его чертой было потрясающее самомнение; он считал себя самым одаренным, сильным, неутомимым ученым и художником, ну просто деятелем эпохи Возрождения. Одаренным он действительно был, но творческая мощь как-то совершенно не вязалась с его костлявой, сухой, серьезной фигурой. Он был усердным почитателем английского философа Бертрана Расселла и мечтал применить

принципы логического позитивизма в искусствоведении. Его воображаемая неутомимость была, пожалуй, его самой нелепой фантазией, ибо на самом деле он обожал тянуть резину; работа для него была каторгой.

Фактически, он был великим специалистом не по искусствоведению, а по проституткам из местных борделей, которых он знал множество. О своих похождениях он давал мне яркие и подробные отчеты – по его словам, чтобы держать меня в курсе чудесных событий, происходящих в мире его специальности. Поэтому я не удивился, когда однажды он ввалился в мою комнату крайне возбужденный, запыхавшийся и сказал мне, что с ним произошло нечто чрезвычайное и он хотел бы поделиться со мной.

– Слушай, старина, ты должен сам это увидеть! – заявил он возбужденно, с оксфордским акцентом, который у него всегда проявлялся при общении со мной. Он нервно зашагал по комнате. – Это трудно описать, но я знаю: это нечто такое, что ты сможешь оценить. Нечто такое, что ты запомнишь надолго. Я хочу преподнести тебе замечательный подарок на всю жизнь. Понимаешь?

Я понимал, что он был истеричным шотландцем. Я всегда посмеивался над ним и следил за его приключениями. И ни разу не пожалел об этом.

– Успокойся, успокойся, Эдди, – сказал я. – Что ты хочешь мне рассказать?

Он сообщил, что только что был в борделе и познакомился там с невероятной женщиной, умеющей делать невообразимую штуку, которую она называет «фигурами перед зеркалом». Он снова и снова убеждал меня, что я просто обязан пережить это невероятное событие на собственном опыте.

– Слушай, не думай о деньгах! – сказал он, зная, что денег у меня нет. – Все уже оплачено. Все, что от тебя требуется, – это пойти со мной. Мадам Людмила покажет тебе свои фигуры перед зеркалом. Это просто ураган!

В припадке безудержного восторга Эдди залился смехом, обнажив свои плохие зубы, которые он обычно прятал, когда растягивал губы в улыбке.

– Слушай, это фантастично!

Мое любопытство разгоралось с каждой минутой. Я был готов принять участие в его новом развлечении. Вскоре Эдди уже вез меня в своей машине к окраине города. Он остановился перед пыльным, неухоженным, облупленным зданием. Когда-то, похоже, это был отель, а затем его переделали в многоквартирный дом. По всему фасаду тянулись ряды грязных балконов, уставленных цветочными горшками и обвешенных сохнувшими коврами.

У подъезда стояли двое темных, подозрительного вида типов, обменявшихся с Эдди бурными приветствиями. У них были черные бегающие глаза и туфли с острыми носками – как мне показалось, чересчур тесные. Одеты они были в блестящие голубые костюмы, тоже слишком тесные для их мясистых тел. Один из этих людей открыл перед Эдди дверь. На меня они даже и не взглянули.

Мы поднялись на два пролета по обветшавшей лестнице, которая когда-то была роскошной. Эдди уверенно шел по пустому гостиничному коридору с дверьми на обе стороны. Все двери были окрашены в одинаковый темный оливково-зеленый цвет. На каждой двери был латунный номер, потемневший от времени и почти неразличимый на крашеном дереве.

Наконец Эдди остановился перед одной из дверей. Я запомнил номер: 112. Эдди несколько раз постучал. Дверь открылась, и круглая, низкорослая крашеная блондинка молча, жестом пригласила нас зайти. На ней был красный шелковый халат с какими-то разлетающимися перьями на рукавах и шлепанцы с меховыми помпонами. Когда мы вошли в маленькую прихожую и дверь была закрыта, женщина поздоровалась с Эдди по-английски, с сильным акцентом.



– Привет, Эдди. Привел друга, э?

Эдди пожал ей руку, а затем галантно поцеловал ее. Он держал себя так, словно был совершенно спокоен, но по некоторым его бессознательным жестам я заметил, что он нервничает.

– Как дела сегодня, мадам Людмила? – спросил он, стараясь говорить как американец.

Я так и не понял, почему Эдди всегда изображал из себя американца в домах терпимости. Подозреваю, это из-за того, что американцев считают богачами, а Эдди стремился утвердиться в этой среде.

Он повернулся ко мне и произнес с нарочитым американским акцентом:

– Оставляю тебя в хороших руках, малыш.

Это прозвучало так высокопарно и странно для моего слуха, что я громко рассмеялся. Мадам Людмила на мой взрыв веселья никак не отреагировала. Эдди еще раз поцеловал руку мадам Людмиле и вышел. – Ховоришь английски, мой мальчик? – закричала мадам, словно подозревала во мне глухого. – Ты похож на египтянина, или нет, на турка.

Я заверил мадам Людмилу, что я ни то, ни другое и что я говорю по-английски. Тогда она спросила, нравятся ли мне фигуры перед зеркалом. Я не знал, что сказать, и лишь кивнул головой.

– Я даю тебе хорошее шоу, – пообещала она. – Фигуры перед зеркалом – это только начало. Когда ты станешь горячий и готовый, скажи мне остановиться.

Из маленькой прихожей мы прошли в темную комнату. Окна были плотно завешены. На стенах было несколько светильников с тусклыми лампочками. Лампочки имели форму трубок и торчали из стен под прямым углом. В комнате было много разных предметов: какие-то ящики от комода, старинные столики и стулья, письменный стол у стены, заваленный бумагой, карандашами, линейками и по меньшей мере дюжиной разных ножниц. Мадам Людмила заставила меня сесть на старый мягкий стул.

– Кровать в другой комнате, дорогой, – сказала она, указывая куда-то в другой конец комнаты. – А здесь моя антизала. Здесь я даю шоу, чтобы ты стал горячий и готовый.

Она сбросила с себя красный халат, стряхнула с ног тапочки и распахнула створки двух высоких трюмо, стоявших рядом у стены. Образовалась большая зеркальная поверхность.

– А теперь музыка, мой мальчик, – сказала мадам Людмила и завела допотопную виктролу, которая, однако, сияла как новенькая. Заиграла пластинка. Мелодия была какая-то разухабистая, напоминавшая цирковой марш.

– А теперь шоу, – и она начала кружиться под аккомпанемент цирковой музыки. Кожа у мадам Людмилы была очень плотная и чрезвычайно белая, хотя она была уже немолода. Должно быть, ей было под пятьдесят. Ее живот уже чуть обвис, как и объемистые груди. У нее был небольшой нос и ярко накрашенные красные губы. Она употребляла густую черную тушь для ресниц. В общем, это был хрестоматийный образец стареющей проститутки. Но было в ней и что-то детское, по-девичьи непосредственное, трогательное.

– А теперь – фигуры перед зеркалом, – объявила мадам Людмила. Музыка продолжала греметь.

– Нога, нога, нога, – говорила она, выбрасывая ноги вперед и вверх – сначала одну, потом другую, в такт музыке. Правую руку она положила на макушку, словно маленькая девочка, которая не уверена, что сможет выполнить сложное движение.

– Поворот, поворот, поворот, – пропела она, вращаясь как волчок.

– Зад, зад, зад, – сказала она, показывая мне свою голую заднюю часть, как это делают в канкане.

Эту последовательность она повторяла снова и снова, пока музыка не начала затихать.

Пружина вилок разматывалась. У меня появилось ощущение, что мадам Людмила уходит куда-то вдаль, становясь все меньше, по мере того, как музыка становится тише. Какое-то отчаяние и одиночество – я и не знал, что такие чувства живут во мне – вырвалось из самых глубин моего существа на поверхность и заставило меня вскочить и выбежать из комнаты. Как безумный, я скатился вниз по лестнице и вылетел из дома на улицу.

Эдди стоял у подъезда, беседуя с двумя мужчинами в блестящих голубых костюмах. Увидев, как я выбежал, он начал надрывно хохотать.

– Ну как, круто? – спросил он, по-прежнему стараясь говорить как американец. – «Фигуры перед зеркалом – это только начало». Какой класс! Какой класс! Рассказывая эту историю дону Хуану в первый раз, я упомянул о том, что на меня произвели очень глубокое впечатление цирковая мелодия и старая проститутка, неуклюже кружащаяся под эту музыку. И еще мне было очень неприятно осознать, насколько бездушен мой друг.

Когда я закончил рассказывать этот случай во второй раз – в этих соноранских предгорьях, – я весь дрожал. На меня загадочным образом воздействовало нечто совершенно неопределенное.

– Эта история, – сказал дон Хуан, – должна войти в твой альбом памятных событий. Твой друг, сам того не подозревая, дал тебе, как он правильно заметил, нечто такое, что останется с тобой на всю жизнь.

– Для меня это просто грустная история, дон Хуан, но это и все, – заявил я.

– Она действительно грустна, как и другие твои истории, – ответил дон Хуан, – но она совсем другая, она может быть памятной для тебя, потому что она затрагивает каждого из нас, людей, а не только тебя, в отличие от других твоих сказок. Видишь ли, как и мадам Людмила, мы все – старые и молодые – делаем свои «фигуры перед зеркалом», в том или ином виде. Вспомни все, что ты знаешь о людях. Подумай о людях на этой Земле, и ты поймешь без тени сомнения, что не важно, кто они или что бы они ни думали о себе, чем бы ни занимались, результат их действий всегда один и тот же: бессмысленные фигуры перед зеркалом.



# 1. Путешествие силы

Когда я познакомился с доном Хуаном, я был очень прилежным студентом-антропологом и хотел начать свою антропологическую карьеру, опубликовав как можно больше материалов. Мне обязательно нужно было вскарабкаться вверх по академической лестнице, а для этого, по моим расчетам, не могло быть лучшего старта, чем собирание данных по использованию лекарственных растений индейцами югозапада США.

Сначала я попросил одного профессора антропологии, работавшего в этой области, чтобы он что-нибудь посоветовал мне по поводу моего проекта. Он был выдающимся этнологом и опубликовал в конце тридцатых и начале сороковых годов много работ об индейцах Калифорнии и Соноры (Мексика). Он терпеливо выслушал мой план. Идея заключалась в том, чтобы написать статью, озаглавить ее «Этноботанические данные» и опубликовать в одном журнале, посвященном исключительно антропологическим проблемам юго-запада Соединенных Штатов.

Я предполагал собрать лекарственные растения, привезти их образцы в Ботанический сад Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, где точно определяют их виды, а затем описать, как и для чего индейцы Юго-Запада употребляют их. Я уже представлял себе тысячи гербарных листов. В туманном будущем вырисовывалось даже издание небольшой энциклопедии по данной теме.

Профессор снисходительно улыбнулся:

– Не хотелось бы охлаждать ваш энтузиазм, – сказал он усталым голосом, – но я не могу не отозваться о вашем усердии в негативном смысле. Усердие в антропологии приветствуется, но оно должно быть направлено в нужное русло. Мы все еще переживаем золотой век антропологии. Я имел счастье учиться у Альфреда Кр., бера и Роберта Лоуи, двух столпов общественных наук. Я не посрамил их доверия. Я по-прежнему считаю антропологию фундаментальной дисциплиной. Все остальные дисциплины должны ответвляться от антропологии. Вся область истории, например, должна называться «исторической антропологией», а область философии – «философской антропологией». Человек должен быть мерой всего. Поэтому антропология, наука о человеке, должна быть ядром любой другой дисциплины. Когда-нибудь так и будет.

Я смотрел на него в полном изумлении. Это был, насколько я его знал, тихий, добродушный, старый профессор, который недавно перенес инфаркт. Кажется, я затронул в нем больную струну.

– Не думаете ли вы, что вам следует уделять больше внимания теоретическим занятиям? – продолжал он между тем. – Вместо того чтобы заниматься полевой работой, не лучше ли было бы вам всерьез позаниматься лингвистикой? У нас на кафедре работает один из наиболее выдающихся лингвистов мира! На вашем месте я бы сидел у его ног и ловил бы каждое слово, исходящее из его уст.

Кроме того, у нас есть выдающийся авторитет в области сравнительного религиоведения. Есть самые компетентные антропологи, которые создали труды о системах родства в культурах всего мира – с точки зрения лингвистики и с точки зрения познания. Вам надо иметь солидную теоретическую подготовку. Думать, что вы можете заниматься полевой работой уже сейчас, – это непростительное легкомыслие. Погрузитесь в книги, молодой человек. Вот вам мой совет.

Я упрямо отправился со своим предложением к другому профессору, более молодое. Но и он мне не помог, а открыто высмеял меня. Он сказал, что статья, которую я задумал, – это комикс о Микки Маусе. Даже с натяжкой нельзя считать это антропологией.

– Сегодня антропологи, – сказал он «профессорским» тоном, – озабочены более злободневными проблемами. Представители медицинских и фармацевтических наук уже произвели бесчисленные исследования всех существующих лекарственных растений мира. Здесь уже обглоданы все кости. Предлагаемое вами собрание данных было бы уместно в начале девятнадцатого века. Но с тех пор прошло почти двести лет. Знаете ли, существует такая вещь, как прогресс.

Затем он дал мне определение и истолкование прогресса и его совершенствования как двух философских категорий, которые, по его мнению, более всего применимы к антропологии.

– Антропология – это единственная наука, – продолжал он, – которая четко обосновывает концепцию совершенствования и прогресса. Слава богу, что в тумане цинизма нашего времени все еще светит луч надежды. Только антропология может продемонстрировать действительное развитие культуры и общественной организации. Только антропологи могут доказать человечеству без тени сомнения наличие прогресса в человеческом знании. Культура развивается, и только антропологи могут продемонстрировать образцы обществ, соответствующих определенным звеньям в цепи прогресса и совершенствования. Вот что такое антропология! Не какая-то там ваша жалкая полевая работа, которая и не полевая работа вовсе, а просто мастурбация.

Это был сокрушительный удар. Хватаясь за последнюю соломинку, я поехал в Аризону, чтобы поговорить с антропологами, которые проводили там настоящую полевую работу. К тому времени я уже был готов к тому, чтобы отказаться от своей идеи. Я понял, что пытались мне внушить эти два профессора. И я был с ними полностью согласен! Мое стремление заниматься полевой работой было, конечно, просто ребяческим. И все-таки как хорошо было бы размять ноги в поле! Нельзя же заниматься наукой только в библиотеке.

В Аризоне я встретился с очень опытным антропологом, который много писал об аризонских и сонорских индейцах яки. Он был крайне любезен. Не останавливал меня и не давал советов. Он только заметил, что индейские общины Юго-Запада живут очень замкнуто и что иностранцам, особенно латинского происхождения, эти индейцы не доверяют, а то и питают к ним откровенную вражду.

Его более молодой коллега был общительнее. Он сказал, что мне стоило бы сначала почитать книги о травах. Он был экспертом как раз в этой области и считал, что все, что можно знать о лекарственных растениях Юго-Запада, уже обсуждено и разложено по полочкам в различных публикациях. Он даже заявил, что любой современный индейский травник черпает свои знания как раз из этих публикаций, а не из индейской традиции. Закончил он утверждением, что если до сих пор и сохранились какие-то традиционные целительские практики, то индейцы ни за что не передадут их чужаку.

– Займись лучше чем-то стоящим, – посоветовал он мне. – Обрати внимание на городскую антропологию. Много денег выделяется, например, на изучение алкоголизма среди индейцев в больших городах. И это то, чем любой антрополог может заниматься без особых трудностей. Пойди и напейся в баре с местными индейцами. Затем проведи статистический анализ всего того, что ты о них узнаешь. Преврати все в цифры. Городская антропология – это реальная наука.

Мне ничего не оставалось, как только прислушаться к советам опытных ученья. Я уже решил было лететь назад в Лос-Анджелес, но тут еще один мой друг-антрополог известил меня, что собирается проехаться по Аризоне и НьюМексико, посетить все места, где он проводил раньше работу, и восстановить отношения с людьми, которые были когда-то его антропологическими информаторами.

– Я буду рад, если ты поедешь со мной, – сказал он. – Работать я не собираюсь. Просто хочу

повидаться с ними, выпить со всеми по рюмке, потрепаться. Я им накопил подарков – одеял, выпивки, курток, разной амуниции для ружей двадцать второго калибра. Загрузил машину всяким добром. Обычно, когда я хочу встретиться с ними, я езжу один, но при этом всегда рискую заснуть за рулем. Ты мог бы составить мне компанию, не давал бы мне пить лишнего, а если я все-таки переберу, мог бы и посидеть немного за рулем, а?

Я так упал духом, что отклонил его предложение.

– Мне очень жаль, Билл, – сказал я. – Эта поездка мне не поможет. Я больше не вижу смысла к этой идее полевой работы.

– Не сдавайся без борьбы, – сказал Билл отечески-заботливым тоном. – Ты должен весь выложиться в борьбе, а если не получится, тогда что ж, можно и отказаться, но не раньше. Поехали со мной, и ты увидишь, как тебе понравится Юго-Запад.

Он положил руку мне на плечо. Я невольно отметил, как тяжела его рука. Билл всегда был высокий и сильный, но в последние годы в его теле появилась странная жесткость. Он утратил свое всегдашнее мальчишество. Его круглое лицо больше не лучилось молодостью, как раньше. Теперь это было озабоченное лицо. Я думал, что он беспокоится по поводу своего облысения, но иногда мне казалось, что тут кроется нечто большее.

Итак, он стал тяжелее. Не то чтобы он потолстел: его тело стало более тяжелым в каком-то необъяснимом смысле. Я замечал это по тому, как он стал ходить, садиться и вставать. Казалось, что Билл в любом действии каждой своей клеточкой упорно борется с гравитацией.

Кончилось тем, что, несмотря на свои расстроенные чувства, я отправился вместе с ним. Мы объехали все места в Аризоне и Нью-Мексико, где жили индейцы. Одним из результатов этого путешествия стало то, что я обнаружил в личности моего друга-антрополога два различных аспекта. Он объяснил мне, что как профессиональный ученый он почти не имел собственных мнений и всегда придерживался генеральной линии антропологической науки. Но как частному лицу полевая работа давала ему богатые и интересные переживания, о которых он никому не рассказывал. Эти переживания не втискивались в господствующие идеи антропологии, так как их невозможно было классифицировать.

Во время нашего путешествия он неизменно выпивал со своими экс-информаторами, после чего полностью расслаблялся. Тогда я садился за руль, а он сидел рядом и потягивал прямо из бутылки 30-летний «Баллантайн». В такие-то минуты Билл иногда был не прочь поговорить о своих неклассифицируемых переживаниях.

– Я никогда не верил в духов, – отрывисто произнес он однажды. – Никогда не интересовался привидениями и призраками, голосами в темноте и всяким таким. У меня было очень прагматичное, серьезное мировоззрение. Моим компасом всегда была наука. Но потом, когда я работал в поле, в меня стала проникать всякая чертовщина. Например, однажды ночью я отправился с несколькими индейцами на поиск видения. Они собирались по-настоящему инициировать меня посредством болезненной церемонии протыкания грудных мышц. Они готовили в лесу парную. Я настраивал себя на то, чтобы вытерпеть боль. Чтобы придать себе силы, я пару раз хлебнул. И вдруг человек, который должен был «ходатайствовать» за меня перед выполняющими ритуал, закричал в ужасе, указывая на темную, зловещую фигуру, которая шла прямо к нам.

Когда эта фигура приблизилась ко мне, я увидел, что передо мной старый индеец, одетый самым диким образом. У него были шаманские регалии. Увидев этого старого шамана, человек, который меня опекал в ту ночь, упал от страха в обморок. Старик подошел ко мне вплотную и уперся мне пальцем в грудь. А палец был – одна кожа и кости. Старик бормотал мне что-то непонятное. К этому моменту все остальные уже увидели старика и молча бросились ко мне. Старик повернулся и взглянул на них, и все они застыли на месте. Он сверлил их взглядом пару

секунд. Голос у него был просто незабываемый. Словно он говорил через трубу или у него было во рту какое-то другое приспособление, извлекавшее звуки из самого его нутра. Клянусь, я видел, что этот человек говорит внутри тела, а его рот просто транслирует слова, как какой-то механизм. Так вот, пронзил он их взглядом и пошел дальше, мимо меня, мимо них, и исчез, растворился в темноте.

Билл рассказал, что церемония инициации так и не состоялась. Все индейцы, в том числе и шаманы, ответственные за ритуал, так дрожали от страха, что чуть не выпрыгивали из ботинок. Немного придя в себя, они разбежались кто куда.

– Люди, которые были друзьями многие годы, – продолжал он, – больше никогда не разговаривали друг с другом. Они заявили, что видели привидение в образе невероятно старого шамана и что, если бы они разговаривали об этом друг с другом, это принесло бы им несчастье. Даже просто смотреть друг на друга было опасно. Большинство из них потом уехало из тех мест.

– Почему они считали, что разговаривать друг с другом или смотреть друг на друга – к несчастью? – спросил я Билла.

– Таковы их верования, – ответил он. – Привидения такого рода обращаются к каждому из присутствующих индивидуально. Для индейцев получить такое видение – это значит определить свою судьбу на всю жизнь.

– И что же привидение сказало им индивидуально? – спросил я.

– Вот этого я не знаю, – ответил Билл. – Они ведь и мне никогда ничего не говорили. Когда я спрашивал их, они все входили в состояние глубокого оцепенения. Ничего не видели, ничего не слышали. Уже через несколько лет после этого события тот человек, который потерял сознание, клялся мне, что обморок был притворный. Он просто до смерти боялся взглянуть в лицо тому старику. А то, что старик имел сказать каждому из них, все они понимали не на словесном, а на каком-то другом уровне.

То, что привидение сказало Биллу, насколько он понял, имело отношение к его здоровью и его будущему.

– То есть? – спросил я.

– Дела мои не очень хороши, – признался он. – Мое тело чувствует себя неважно.

– Но ты хоть знаешь, в чем тут дело?

– Ну да, – сказал он безразличным тоном, – врачи мне все объяснили. Но я не собираюсь беспокоиться и даже думать об этом.

Откровения Билла оставили во мне тяжелый осадок, с этой стороны я его совершенно не знал. Я всегда считал, что он – весельчак, рубаха-парень. Никогда бы не подумал, что у него есть уязвимые места. И такой Билл мне не нравился. Побыло уже слишком поздно отступать. Наше путешествие продолжалось.

В другой раз он доверительно сообщил мне, что шаманы Юго-Запада умеют превращаться в различных существ и что деление шаманов па «медведей», «горных львов» и т.п. следует понимать не в символическом или метафорическом смысле, а в самом что ни на есть буквальном.

– Не знаю, поверишь ли ты, – заявил он самым почтительным тоном, по есть шаманы, которые на самом деле становятся медведями, горными львами или орлами. Я не преувеличиваю и ничего не придумываю, когда говорю, что однажды я сам видел превращение шамана, который называл себя «Речной Человек», «Речной Шаман» или «Пришедший с Реки, Возвращающийся к Реке». С ним я был в горах в штате Нью-Мексико. Я возил его на машине; он мне доверял. Этот шаман искал свой исток – так он говорил. Один раз мы с ним шли по берегу реки, как вдруг он стал каким-то очень возбужденным. Он велел мне скорее убежать с берега к высоким скалам, спрятаться там, накрыть голову и плечи одеялом и выглядывать в щелочку, чтобы не пропустить

то, что он сейчас будет делать.

– Что же он собирался делать? – спросил я, не в силах сдержать нетерпение.

– Я не знал, – сказал Билл. – Мне оставалось только догадываться. Я не представляю себе не мог, что он собирался делать. Он просто зашел в воду, во всей одежде. Когда вода дошла ему до икр – это была широкая, но мелкая горная речка, – шаман просто исчез, растворился. Но прежде чем войти в воду, он шепнул мне на ухо, что я должен пройти вниз по течению и подождать его. Он указал мне точное место, где ждать. Я нашел это место и увидел, как шаман вышел из воды. Хотя глупо говорить, что он «вышел из воды», Я видел, как шаман превратился в воду, а затем воссоздал себя из воды. Ты можешь в это поверить? Я не мог ничего сказать по поводу этой истории. Поверить в нее было невозможно, но и не верить я тоже не мог. Билл был слишком серьезным человеком. Напрашивалось единственное разумное объяснение: в этом путешествии он пил с каждым днем все больше. В багажнике у Билла был ящик с двадцатью четырьмя бутылками шотландского виски – для него одного. Он пил как лошадь.

– Я всегда был равнодушен к эзотерическим превращениям шаманов, – объявил он мне в другой день. – Не скажу, что я могу объяснить эти превращения или хотя бы верю в то, что они на самом деле происходят, но в качестве интеллектуального упражнения очень интересно подумать о том, что превращение в змей и горных львов не так трудно, как то, что делал водяной шаман. В такие моменты я задействую свой разум таким образом, что перестаю быть антропологом и начинаю реагировать на то, что чувствую нутром. А нутром я чувствую, что эти шаманы определенно делают что-то такое, что невозможно научно зафиксировать и вообще обсуждать, если ты в здравом уме. Например, есть облачные шаманы, которые превращаются в облака, в туман. Я никогда этого не видел, но я знал одного облачного шамана. Я не видел, чтобы он исчезал или превращался в туман на моих глазах, как тот, другой шаман превратился в воду. Но однажды я погнался за облачным шаманом, и он просто исчез – в таком месте, где спрятаться просто негде. Хотя я не видел, как он превратился в облако, но он исчез! Я не могу объяснить, куда он девался. Там, где он пропал, не было ни скал, ни растительности. Я был там через полминуты после него, но шамана уже не было.

Я гнался за этим человеком, чтобы получить информацию, – продолжал Билл. – Но он не хотел уделить мне время. Он был очень дружелюбен, но и только.

Билл рассказал мне еще массу других историй – о соперничестве и политических группировках индейцев в разных резервациях, о кровной мести, вражде, дружбе и т. д. и т. п. – все это не интересовало меня ни в малейшей степени. А вот истории о превращениях шаманов и привидениях давали мне серьезную эмоциональную встряску. Они меня одновременно и привлекали, и пугали. Но почему они меня привлекают или пугают, я не мог понять, как ни пытался. Могу только сказать, что эти шаманские истории задевали меня на каком-то неизвестном, телесном уровне, я бы даже сказал, на уровне внутренностей.

Еще во время этой поездки я понял, что индейские сообщества Юго-Запада – это действительно сообщества закрытые. И я в конце концов согласился с тем, что мне действительно нужно было пройти основательную теоретическую подготовку, что разумнее было бы заняться полевой антропологической работой в какой-то сфере, с которой я знаком или в которой имеется некоторая конкуренция.

Когда наша поездка закончилась, Билл отвез меня на автобусную станцию в Ногалес, штат Аризона. Оттуда мне предстояло вернуться в Лос-Анджелес. Пока мы сидели в зале ожидания, Билл по-отечески поучал меня, напоминая, что неудачи в антропологической полевой работе неизбежны, но они являются признаками приближения к цели или моего созревания как ученого.

И вдруг он наклонился ко мне и движением подбородка указал на противоположный конец



зала.

– Кажется, вон тот старик, который сидит на скамейке в углу, – это и есть тот человек, о котором я тебе рассказывал, – прошептал он мне на ухо. – Я не совсем уверен, потому что я видел его перед собой, лицом к лицу, только один раз.

– Который человек? Что ты мне о нем рассказывал? – спросил я.

– Когда мы говорили о шаманах и шаманских превращениях, я рассказал тебе, как однажды я встретил облачного шамана.

– Да-да, я помню, – сказал я. – Это и есть облачный шаман?

– Нет, – сказал Билл, – но мне кажется, что это товарищ или учитель облачного шамана. Я их обоих видел вместе много раз – правда, издалека и много лет назад.

Я вспомнил, что Билл мельком упоминал, причем не в связи с облачным шаманом, о существовании некоего таинственного старика, бывшего шамана; этот старый мизантроп из индейцев юма одно время был ужасным колдуном. Об отношении этого старика с облачным шаманом мой друг никогда ничего не рассказывал, но, очевидно, это был настолько важный пункт для Билла, что он был уверен – я тоже об этом знаю.

Странное беспокойство неожиданно овладело мной и заставило вскочить со скамьи. Как будто влекомый чужой волей, я подошел к старику и сразу же начал длинную тираду о том, как я много знаю о лекарственных растениях и о шаманизме индейцев равнин и их сибирских предков. Мимоходом я упомянул, что слышал о старике как о шамане. В заключение я заверил старика, что для него было бы крайне полезно побеседовать со мной обстоятельно.

– Во всяком случае, – сказал я нетерпеливо, – мы могли бы обменяться историями. Вы расскажете мне свои, а я вам – мои.

Все это время старик не поднимал на меня глаз. И тут вдруг поднял. «Я Хуан Матус», – сказал он, глядя мне прямо в глаза.

Моя тирада ни в коем случае не должна была прекращаться, но по какой-то непонятной причине я вдруг почувствовал, что мне больше нечего сказать. Хотелось только назвать свое имя. Но старик поднял руку на уровень моих губ, как бы заставляя меня молчать.

В этот момент подъехал автобус. Старик проворчал, что это тот автобус, на котором он должен ехать; затем он дружелюбно пригласил меня заглянуть как-нибудь к нему, чтобы мы могли поговорить в непринужденной обстановке и обменяться историями. Говоря это, он иронично усмехнулся уголком рта. С невероятной для человека его возраста ловкостью – ему было, как я прикинул, за восемьдесят – он в несколько прыжков покрыл пятидесятиардовое расстояние между скамьей, где он сидел, и дверью автобуса. Автобус словно остановился специально для того, чтобы подобрать этого старика, – как только он запрыгнул, дверь закрылась и машина тронулась.

Старик уехал, а я вернулся к скамейке, где сидел Билл. – Что он сказал, что он сказал? – спрашивал он возбужденно.

– Чтобы я заглянул к нему домой, – ответил я. – И даже сказал, что мы там сможем поговорить.

– Он пригласил тебя к себе домой? Что же ты ему такого сказал? – приставал Билл.

Я похвастался Биллу, что во мне погиб торговый агент, и рассказал, как я пообещал старику поделиться с ним своей богатой информацией о лекарственных растениях.

Билл явно не поверил ни одному моему слову. Он обвинил меня в том, что я что-то утаиваю от него.

– Я знаю, что за люди здесь живут, – заявил он воинственно, – а этот старик – особенно странный тип. Он не разговаривает ни с кем, в том числе и с индейцами. С какой бы стати ему разговаривать с тобой, чужаком? Был бы ты хоть умный!

Было очевидно, что мой друг рассердился на меня, хотя я и не мог понять за что. Я не смел попросить у него объяснений. У меня возникло впечатление, что он ревнует меня к этому старику. Возможно, я добился успеха там, где он в свое время потерпел поражение. Как бы то ни было, мой случайный успех ничего не значил для меня. Если не считать кратких замечаний Билла, я не имел ни малейшего понятия о том, как трудно было сойтись с этим стариком. Да и ничего особо примечательного в нашем разговоре я в то время не обнаружил. И меня удивляло, что Билл так расстраивается по этому поводу.

– А ты знаешь, где он живет? – спросил я его.

– Не имею ни малейшего понятия, – ответил он сухо. – Местные люди говорили, что он не живет вообще нигде, просто появляется неожиданно то здесь, то там, но все это, конечно, чушь собачья. Наверное, живет в какой-нибудь развалюхе в мексиканском Ногалесе.

– Чем же он такой важный? – спросил я.

Задав этот вопрос, я смог набраться храбрости и добавить:

– По-моему, ты расстроен из-за того, что он разговаривают со мной. Почему?

Билл с безразличным видом признал, что он был раздосадован, потому что, по его сведениям, даже пытаться заговорить с этим человеком было бесполезно.

– Этот старик – редкий грубиян, – добавил Билл. – В лучшем случае, ты к нему обращаешься, а он на тебя только смотрит и слова не скажет. А в другой раз и взглядом не удостоит; просто не обращает на тебя внимания, словно ты пустое место. Я один-единственный раз попытался заговорить с ним, и он меня очень грубо оборвал. Знаешь, что он мне сказал? «На твоём месте я бы не тратил энергию на открывание рта. Береги ее. Она тебе нужна». Не был бы он такой старой галошей, я бы врезал ему по носу.

Я заметил, что называть этого человека «стариком» было бы не совсем корректно. На самом деле он не выглядел таким уж старым, хотя лет ему, безусловно, было много. Он невероятно подвижен и крепок. Про себя же я подумал, что Билл оказался бы в жалком положении, если бы вздумал врезать такому «старикому» по носу. Старый индеец был силен. Можно даже сказать, он внушал страх.

Но этого я вслух не сказал. Билл продолжал разглагольствовать о том, как ненавистен ему этот гадкий старикашка и что бы он со старикашкой сделал, если бы тот не был таким тщедушным.

– Как ты думаешь, кто бы мог мне подсказать его адрес? – спросил я.

– Возможно, кое-кто в Юме, – ответил он, понемногу успокаиваясь. – Может быть, те люди, с которыми я тебя познакомил в начале нашей поездки. Ты ничего не потеряешь, если порасспросишь их. Можешь сказать, что это я тебя к ним направил.

Итак, мои планы изменились. Вместо того чтобы вернуться в Лос-Анджелес, я отправился в Юму, штат Аризона. Встретился с людьми, с которыми меня познакомил Билл. Они не знали, где живет тот старый индеец, но их отзывы о нем еще больше возбудили мое любопытство. Мне сказали, что он не из Юмы, а из мексиканского штата Сонора и что в молодости он был внушающим ужас магом, творил заклинания и налагал чары на людей, но, постарев, превратился в отшельника-аскета. Хотя он был индейцем яки, одно время его видели с группой мексиканцев, которые, судя по всему, хорошо разбирались в колдовстве. Все информаторы Билла утверждали, что уже много лет никто из той компании в окрестностях Юмы не появлялся. Один из информаторов добавил, что этот старик был сверстником его дедушки. Но дедушка был уже дряхл и прикован к постели, а маг с годами, казалось, лишь набирался сил. Этот же рассказчик порекомендовал мне обратиться к неким людям в Эрмосильо, столице Соноры, которые могли знать старика и рассказать мне о нем больше. Перспектива поездки еще и в Мексику меня не очень-то радовала. Сонора находилась слишком далеко от сферы моих интересов. Кроме того, я

рассудил, что лучше все-таки и впрямь заняться городской антропологией, и вернулся в Лос-Анджелес. Перед отъездом в Калифорнию я, правда, прочесал окрестности Юмы, повсюду расспрашивая о старике. Но больше никто не знал о нем ничего.

В автобусе на пути в Лос-Анджелес мной владели смешанные ощущения. С одной стороны, я чувствовал себя полностью излечившимся от всяких помрачений, связанных с полевой работой и стариком-индейцем. С другой стороны, меня мучила странная ностальгия. Такого со мной раньше никогда не бывало. Новизна ощущения поразила меня до глубины души. Это была смесь беспокойства и тоски, как будто мне не хватало чего-то крайне важного. По мере того как я приближался к Лос-Анджелесу, все, что воздействовало на меня в Юме, постепенно начало уходить на задний план. Но от этого моя тоска лишь усиливалась.

Конец ознакомительного отрывка книги.

[Скачать аудиокнигу](#)